

Дмитрий Андреевич Фурманов

Чапаев

**Москва
«Книга по Требованию»**

УДК 82-3
ББК 84
Д53

Д53 **Дмитрий Андреевич Фурманов**
Чапаев / Дмитрий Андреевич Фурманов – М.: Книга по Требованию, 2012. –
194 с.

ISBN 978-5-4241-1332-1

Роман "Чапаев" - одно из самых значительных произведений советской литературы. В нем отображена борьба за завоевание Советской власти, ярко показан образ В.И. Чапаева - храброго командира Красной Армии.

ISBN 978-5-4241-1332-1

© Издание на русском языке, оформление
«YOYO Media», 2012

© Издание на русском языке, оцифровка,
«Книга по Требованию», 2012

Дмитрий Фурманов
Чапаев

I. РАБОЧИЙ ОТРЯД

На вокзале давка. Народу — темная темь. Красноармейская цепочка по перону чуть держит оживленную, гудящую толпу. Сегодня в полночь уходит на Колчака собранный Фрунзе рабочий отряд. Со всех иваново-вознесенских фабрик, с заводов собрались рабочие проводить товарищей, братьев, отцов, сыновей... Эти новые «солдаты» как-то смешны и неловкостью и наивностью: многие только впервые надели солдатскую шинель; сидит она нескладно, кругом топорщится, подымается, как тесто в квашне. Но что ж до того — это хлопцам не мешает оставаться бравыми ребятами! Посмотри, как этот «в рюмку» стянулся ремнем, чуть дышит, сердешный, а лихо отстукивает звонкими каблуками; или этот — с молодцеватой небрежностью, с видом старого вояки опустил руку на эфес неуклюже подвязанной шашки и важно-важно о чем-то спорит с соседом; третий подвесил с левого боку револьвер, на правом — пару бутылочных бомб, как мзеей, окрутился лентой патронов и мечется от конца до конца по площадке, желая хвальнуться друзьям, родным и знакомым в этаком грозном виде.

С гордостью, любовью, с раскрытым восторгом смотрела на них и говорила про них могучая черная рабочая толпа.

— Научатся, браток, научатся... На фронт приедут — там живо сенькину мать куснут...

— А што думал — на фронте тебе не в лукошке кататься...

И все заерзали, засмеялись, шеями потянулись вперед.

— Вон Терентия не узнаешь, — в заварке-то мазаный был, как фитиль, а тут поди тебе... Козырь-мозырь...

— Фертом ходит, што говорить... Сабля-то — словно генеральская, ишь таскается.

— Терещ, — окликнул кто-то смешливо, — саблю-то сунь в карман — казаки отымут.

Все, что стояли ближе, грохнули хохотной россыпью.

— Мать возьмет капусту рубить...

— Запнешься, Терешка, переломишь...

— Пальчик обрежешь... Генерал всмятку!

— Ага-га... го-го-го. Ха-ха-ха-ха-ха...

Терентий Бочкин, — ткач, парень лет двадцати восьми, веснушчатый, рыжеватый, — оглянулся на шутки добрым, ласковым взором, чуть застыдился и торпливо ухватил съехавшую шашку...

— Я... те дам, — погрозил он смущенно в толпу, не найдаясь, что ответить, как отозваться на страстный поток насмешек и острот.

— Чего дашь, Тереша, чего?.. — хохотали неумемные остряки. — На-ко семечек, пожуй, солдатик божий. Тебе шинель-то, надо быть, с теленка дали... Ага-га... Ого-го...

Терентий улыбочиво зашагал к вагонам и исчез в серую суетную гущу красноармейцев.

И каждый раз, как попадал в глаза нескладный, — его вздымали на смех, поливали дождем ядовитых насмешек, густо просоленных острот... А потом опять ползли деловые, серьезные разговоры. Настроение и темы менялись с

быстротой, — дрожала нервная, торжественная, чуткая тревога. В толпе гнездились пересуды:

— Понадобится — черта вытащим из аду... Скулили все — обуться не во что, шинелей нету, стрелять не знаю чем... А вон она — ишь ты... — И говоривший тыкал пальцем в сторону вагонов, указуя, что речь ведет про красноармейцев. — Почитай, тыщу целую одели...

— Сколько, говоришь?

— Да, надо быть, тыща, а там и еще собирается — и тем все нашли. Захочешь, найдешь, брат, чесаться тут некогда — подошло время-то он какое...

— Время сурьезное — кто говорит, — скрепляла хриплая октава.

— Ну как же не сурьезное. Колчак-то, он прет почему зря. Вишь, и на Урале-то нелады пошли...

— Эхе-хе, — вздохнул старина — маленький, шупленький старичок в кацавейке, зазубленный, уморщенный, как гриб.

— Да... Как-то и дела наши ныне пойдут, больно уж плохо все стало, — пожалобился скучный, печальный голосок.

Ему отвечали серьезно и строго:

— Кто ж их знать может: дела сами не ходят, водить их надо. А и вот тебе первое слово — тыща-то молодцов!.. Это, брат, *дело* — и большое дело, большое!.. Слышно в газетах вон — рабочих мало по армии, а надо... Рабочий человек — он толковее будет другого-прочего... К примеру, недалеко ходить — Павлушку возьмем, Лопаря, — каменный, можно сказать, человек... и голову имеет — не пропадет небось!

— Кто говорит, известно...

— Да не то что мужики, — ты, вон она, на Марфушку на «Кожаную» глянь, тоже не селедка-баба. Другому, пожалуй, и мужику пить даст.

Марфа, ткачиха, проходя неподалеку и услышав, что речь идет про нее, быстро обернулась и подошла к говорившим. Широкая в плечах, широкая лицом, с широко открытыми голубыми глазами, чуть рябоватая, — она выглядела значительно моложе своих тридцати пяти лет. Одетая в новый солдатский костюм: штаны, сапоги, гимнастерка, волосы стрижены, шапка сбита на самый затылок.

— Ты меня что тревожишь? — подошла она.

— Чего тебя тревожить, Марфуша, — сама придешь. Говорю, мол, не баба у нас «Кожаная», а кобыла бесседельная...

— То есть я-то кобыла?

— Ну, а то кто? — И вдруг переменял шуточный тон. — Говорю, что на воина ты крепко подошла... Вот что!

— Подошла — не подошла: надо...

— Ясное дело, что надо... — Он минутку смолчал и добавил: — Ну, а *там-то* — как?

— Чего — *как*?

— Дела всякие свои?

— Што ж дела... — развела руками Марфуша. — Ребят в приюты посовала, куда их деешь?

— Куда деешь... — посочувствовал и собеседник.

И, передохнув трудно, сказал соболезнающим грудным дыхом:

— Ну, похраним, похраним, Марфуша, а ты не терзайся: похраним... Поезжай

спокойная, нам тут чего уж осталось и делать, как не за вас работать?.. Придет, може, время — и мы тогда... а?

— Так вот же... — кивнула Марфа, — да и вернее всего, што так оно будет... на одном отряде разве можно смириться?.. Беспременно будет.

— И ребята, кажись, тово, — мотнул собеседник на вагоны.

— Чего ж им, — ответила Марфа, — только бы ехать, што ли, скорей: ждять, говорят, надоело. Ехать и ехать — одно слышать, чего толшиться?.. Э-гей, Андреев! — окликнула Марфа кого-то из проходивших. — Насчет отправки чего там балачут?

Петербургский слесарь, только недавно приехавший в Иваново, двадцатитрехлетний юноша с густыми, темно-синими глазами, с бледным лицом, стройный и гибкий, с коммунаркой на голове, в истертой коричневой шинелишке, — это Андреев! Подходит четким шагом, точно на доклад; поравнялся, шелкнул в каблучки, взял под козырек и, без малейшей усмешки глядя в упор на Марфу чудесными серьезными глазами, — отрапортовал:

— Честь имею доложить вашему превосходительству: поезд идет через сорок минут!

Марфа дернула за рукав:

— Прощаться-то будем али нет? Ребята ждуть, — слово бы надо прощальное, што ли... Где Клычков? Куда он там запропастился?

Андреев снова вскинул под козырек и тем же невозмутимым тоном отчеканил:

— Пузо чаем прополаскивает, ваше превосходительство!

Марфа ударила по руке:

— Брось ты, черт, обалдел, што ли? На вот, генерала себе какого нашел...

Он вмиг перетрепнулся и к Марфе чистым, звонким, «своим» голосом:

— Марфочка...

— А?

— Марфочка, — ты сама-то... гм!

Андреев скорчил выразительную рожу, скомкав губы, вылупив глаза.

— Чего ето? — поглядела на него Марфа.

— Отчекрыжишь, поди, што-нибудь?

Но Марфа ничего не ответила, приподнялась на носки, посмотрела над толпой:

— Да вон и сами идут, надо быть...

Стоявшие около тоже поднялись, шеями вытянулись туда, куда смотрела Марфа. Там шли трое, окруженные тесным кольцом. Отчетливый выделялся Лопарь — с черными длинными волосами, блестящими глазами, высокий, худой. Он шел и братался, словно сам себе ногой на ногу наступал, — вихлястый такой, нескладный.

С ним рядом Елена Куницына, ткачиха, девушка двадцати двух лет, которую так любили за простую, за умную речь, за, ясные мысли, за голос красивый и крепкий, что слышали так часто ткачи по митингам. Она еще не в коммунарке — повязана платком; не в солдатской шинели, а в черном легоньком пальтишке, — это в январские-то морозы! На бледном строгом лице отпечатлелась внутренняя тихая радость.

С Еленой рядом — Федор Клычков. Этот не ткач, вообще не рабочий; он не так давно воротился сюда из Москвы, застрял, освоился, бегал по урокам, жил,

как птица, тем, что добудет. Был в студентах. В революции быстро нашупал в себе хорошего организатора, а на собраниях говорил восторженно, увлекательно, жарко, хоть и не всегда одинаково дельно. Клычкова рабочие знали близко, любили, считали своим.

Толпа за перроном при виде Куницыной, Клычкова и Лопаря задвигалась, зашептала громким шепотом:

- Сейчас, надо быть, говорить станут.
- Отправляться скоро...
- Да уж раскланяться бы, што ли, — спать пора.
- А вот расцалуемся — и крышка.
- Слышь, звонок.
- Первый, што ли?
- Первый.
- В двенадцать трогать зачнут...
- В самую, вишь, полночь так и норовят!

Сальные короткие пальтишки, дрянненькие шубейки с плешивыми, облезлыми воротниками, с короткими рукавами, потертыми локтями; черные коротышки-тужки — драповые, суконные, кожаные. Стильная толпа!

Вокзал неширок, народу вбирает в себя мало. Кто посмышленнее — зацепились за изгородь, влезли на подоконники, многие забрались на пристройку вокзала, свесили головы, тарасили глазами по толпе, скрючившись, висли на дверных скобах, цепляясь за карнизы. Иные заняли проходы, умостились на вагонных крышах, на лесенках, на приступках... Давка. Каждому охота продрасться вперед, поближе к ящику, с которого станут говорить. Попискивают, побряхтывают, поругивают, побраниваются. Вот на ящике показался Клычков, — шинелишка старая, обтрепанная: она унаследовалась от *т о й* войны. Без перчаток мерзнут руки — он их то и дело сует в карманы, за пазуху, дует в красные хрусткие кулаки. Нынче лицо у Федора бледней обыкновенного: две последние ночи мало и плохо спал, днями торопился, много работал, затомел. Голос, такой всегда чистый и звучный, — глуховат, несвеж, гудит словно из пещеры.

Клычкову дали первое слово — он будет от имени отряда прощаться с ткачами. Холодно. Позамерзла толпа. Надо торопиться. Речи должны быть кратки!

Федор обвел глазами и не увидел концов черной массы, — они, концы, были где-то за площадью, освещенной в газовые рожки. Ему показалось, что за этими вот тысячами, что стоят у него на виду, тесно примыкая, пропадая в густую тьму, стоят новые, а за теми — новые тысячи, и так без конца. В эту последнюю минуту он с острой болью почувствовал вдруг, как любима, дорога ему черная толпа, как тяжело с ней расставаться.

«Увижу ли?.. Вернусь ли?.. Да и все вернемся ли когда в родные места?.. Приду ли еще когда и стану ли говорить, как говорил столь часто в эти годы?»

Переполненный скорбным чувством разлуки, не успев обдумать свое короткое слово, не зная, о чем будет оно, Клычков крикнул как-то особо громко — так он не кричал никогда:

— Товарищи рабочие! Остались нам вместе минуты: пробьют последние звонки — и мы уедем. От имени красных солдат отряда говорю вам: прощайте! Помните нас, своих ребят, помните, куда и на что мы уехали, будьте готовы и сами за нами идти по первому зову. Не порывайте с нами связь, шлите вестников,

шлите, что сможете, от грошей своих, помогайте бойцам. На фронте голодно, товарищи, трудно — труднее, чем здесь. Этого не забывайте! А еще не забывайте, что многие из нас оставили беспризорные, необеспеченные семьи, детей, обреченных на голод, — не оставляйте их. Тяжко будет сидеть нам в окопах, страдать в походах, в боях... Но стократ тяжелей будет вынести муку, если узнаем к тому, что семьи наши умирают беспомощные, покинутые, всеми забытые... И еще вам одно слово на разлуку: работайте! дружнее работайте! Вы — ткачи и знать про то должны, что, чем больше соткете в Иванове, тем будет теплее в уральских оренбургских снежных степях, — везде, куда попадет отсюда ваше добро. Работайте и накрепко запомните, что победа не только в нашем штыве, но еще и в вашем труде. Увидимся ли снова когда? Станем верить, что да! Но если и не будет встречи — что тужить: революция не считает отдельных жертв. Прощайте, дорогие товарищи, от имени красных солдат отряда — прощайте...

Словно буйным бураном завывла снежная степь, — толпа зарыдала ответным гулом:

— Прощайте, ребята! Счастливо... Не забудем...

И когда смолкли — остановилась печальная тишина. Так было минуту, и вдруг по толпе зашелестело шепотком:

— Елена... Елена вышла... Куницына...

На ящике выросла Елена Куницына. Были густы и вовсе черны светло-карие чудесные глаза Елены. Быстрым движеньем руки скользнула она по щеке, по виску, спрятала прядки волос под платком, а платок обеими руками плотно прижала к голове.

И сказала негромко, словно сама себе:

— Товарищи!

Вся вытянулась к ней онемелая, ждущая толпа.

— Я вам скажу на прощанье, товарищи, что мы будем фронтом, а вы, например, тылом, но как есть одному без другого никак не устоять. Выручка, наша выручка — вот в чем главная теперь задача. Когда мы будем знать, что за спиной все спокойно да ладно — ништо не будет нам трудно, товарищи. А ежели и у вас тут кисель пойдет — какая она будет война? Мы не зря, рабочие-то, два эти года мучились — али зазря, али понапрасну? Нет, товарищи, по делу это все. Вот, к примеру, и мы идем, женщины: нас в отряде двадцать шесть человек. Мы тоже поняли, какой это момент переживает вся страна. Надо, значит, идти — вот вам и весь сказ! Женщины — матери, жены, дочери, сестры, невесты, подруги — все они вам посылают через меня свой последний поклон. Прощайте, товарищи, будьте крепки духом, а мы тоже...

В ответ ей тысячеустая грудная радость, страстные клятвы, благодарность за умное, за бодрое слово:

— Эх, Еленка, тебе бы в министрах быть! Ну и баба — чисто машина работает!

Из толпы пробрался, влез на ящик одетый в желтую кацавейку, в масляную кепку, в валяные сапоги — старый ткач. Морщинилось темными глубокими полосами иссохшее лицо старика, шамкали смутным шепотом губы. По мокрым, но светлым глазам, по озаренному лицу, словно волны, подымались накаты безмерной радости:

— Да, мы ответим... ответим... — Он замялся на миг и вдруг обнял сивую, оседлую голову. — Собирали мы вас — знали на што! Всего навидаетесь, всего испытаете, может, и вовсе не вернетесь к нам. Мы, отцы ваши, — ничего, что тяжело, — скажем как раз: ступайте! Коли надо идти — значит, идти. Неча тут смозоливать. Только бы дело свое не посрамить, — то-то оно, дело-то! А в самые што ни есть плохие дни и про нас поминайте, оно легче будет. Мы вам тоже заруку даем: детей не оставим, жен не забудем, помочь какую ни есть, а дадим! Известно, дадим — на то война. Нешто можно без того...

Старик степенно развел руками и грустно внятно чмокнул: все равно-де, выходу нет иного!

Потом он минуту постоял, обождал свои мысли и, не дождавшись, махнул рукой, быстро насунул кепку на сивую жидковолосую голову и — вовсе готовый уйти — крикнул слышным, резким голосом:

— Прощайте, ребята... может, совсем...

Старый голос вздрогнул слезами, и слезная дрожь острым током секанула толпу...

— Может, тово... Всего бывает. Мало ли што, война-то... Она тово...

И в темные морщины из мокрых глаз хлынули обильные слезы. Грязным рукавом кашаевики он слезы мазал по лицу. Многие плакали в толпе. Другие кричали спускавшемуся вниз ткачу:

— Верно, отец! Правильно!! Правильно, старина!

Старик сошел. Ящик остался пуст. Тонко и звонко над толпой пробил второй звонок. Клычков вскочил в останний раз на ящик:

— Ну, прощайте! Еще раз прощайте, товарищи! За нашу встречу, за счастливую будущую встречу: ура!

— Ура... ура... ура!!!

И чуть стихло — команда:

— Отряд, по местам!

Замелькали суетно шапки, фуражки, коммунарки, защелкали прощальные поцелуи. Поплыли торопливым залихватным гудом напутственные речи, степенные советы, печальные просьбы, напрасные утешенья.

На плече у хмурого красноармейца вздрагивала материнская голова. Слезы замочили серое лицо. Стонала, всхлипывала, плакала рокотно какая-то одна половинка, — другая остыла, серьезная, крепкая и смолкшая в задумье.

Отряд в вагонах. Ближе примкнула толпа, — она из вагонных окон отлилась сплошной безликой массой. Масса ворочалась, гудела, волновалась, словно огромный шерстистый зверь — тысячапалый, тысячеглазый, податливый, как медведь-мохнач.

Третий звонок...

Засвистели свистки соловьями, загудели сычами гудки, зафыркала трудно паровозная глотка, зачадила, задышала, лязгнули колеса по мерзлым рельсам, хрустнули на съеме, треснули вагоны, снялись со стоянки, покатались...

Кричали красноармейцы из вагонов, кричала и вослед бежала гибкая черная толпа. Потом вагоны пропали во тьме, и только можно было слышать, как вдалеке что-то ухало, скрежетало, все глубже, глубже уходило в черную ночь...

Понурые, унылые, со слезами, с горестной речью в полуночном январском холоду расходились со станции по домам ткачи.

До Самары от Иваново-Вознесенска ехали что-то очень долго — не меньше двух недель. Но по тем временам и этот срок — кратчайший. Дорога мало затомила, — любы-дороги новые места, крепит необычная обстановка, треплет смена впечатлений, тонкой, высокой струной звенит настроенье: острота новизны смывала серую скуку нудной езды, тоску стоянок в тупиках глухих полустанков. Что ни остановка — у эшелона бойкая работа. Весь долгий путь перемечен митингами, собраниями, заседаниями, самодельными лекциями, говорливыми беседами по кружкам охотников-слушателей. Отряд ткачей-большевиков — толковых, строгих до себя ребят — весь путь пробороздил глубоким и неожиданным впечатленьем. По станциям, по захолустным полустанкам, по мелким городишкам, селам, деревням — мчалась в те дни неисчислимая «вольница», никем не учтенная, никем не организованная: разные отряды и отрядики, всякие «местные формирования», шальные, полутемные лица, шатавшиеся без цели и без толку из конца в конец необъятной России. И вся эта обильная орава кормилась за счет населения: неоплатная, скандальная, самоуправная. Буйству воля была широкая, некому было то буйство взять под уздцы: власть Советская на местах по глуши не окрепла ядреным могуществом.

Остро в те дни ощутил человек, что мало иметь ему только пару светлых глаз, только два тончайших и чутких уха, две руки, готовых в работу, и голову одну на плечах, и сердце в груди одинокое. В те нечеловеческие дни тяжело было человеку.

Лучшие люди Советской страны уходили на фронт. Другие маялись в бесшумной иссушающей маете тыла. Где же было за всем присмотреть, все прослушать и все поделывать, что делать надо! По зарослям глухих провинций, в непролазной пуще сермяжных углов что творилось в те смутные дни — никогда никто не узнает. Горе людское остановилось страданьем в серых озерах глаз. Безответная, шальная, разгульная вольница сшибала на скаку ростки советской жизни и уносилась, хмельная и бесшабашная.

Старого нет — и нового нет. Где же голову приклонит беззащитный человек? И кто распалил этот огненный вихрь?

Ах, большевики? Так это ихняя бражная вольница не дает покоя, так это от них наше лютое горе?

Того не могли понять, что новая власть на разгульную вольницу только-только вила в те дни жгутовый аркан.

И все свое грузное горе, ржавую злобу свою выхлестнули сермяжные углы — на большевиков:

— Грабители! Насильщики! Поганое племя!

И вдруг теперь в отряде, в этой тысяче большевиков-ткачей, увидели сермяжники, жители малых городков, увидели, попросту сказать, хороших людей, которые их внимательно, спокойно выслушивали, на все вопросы мирно отвечали, что надо, объясняли умно и просто, по своей воле не шарили амбары, не вспарывали подвалам животы, ничего не брали, а что брали — за то платили. И крестьяне дивовались. Было это ново. Было это странно. Было это любо. Иной раз к полустанку, где эшелоны задерживались сутками, сползались жители из дальних сел-деревень «послушать умного народу». Работа агитационная была проделана на ять, — она словно двери распахнула к той гигантской работе, что за годы гражданской войны развернули иванововознесенцы. И где их, бывало,

где не встретишь: у китайской ли грани, в сибирской тайге, по степям оренбургским, на польских рубежах, на Сиваше у Перекопа, — где они не были, красные ткачи, где они кровью не полили поле боя? То-то их так берегли, то-то их так стерегли, то-то их так любили и так ненавидели: оттого им и память — как песня сложена по бескрайным равнинам советской земли.

Вот ехали теперь на фронт и в студеных теплушках, в трескучем январском холоду — учились, работали, думали, думали, думали. Потому что знали: надо готовым быть ко всему. И надо уметь войну вести не только штыком, но и умным, свежим словом, здоровенной головой, знаньем, умением разом все понимать и другому так сказать, как надо. По теплушкам книжная читка гудит, непокорная скрипит учеба, мечутся споры галочьей стаей, а то вдруг песня рванет по морозной чистоте — легкая, звонкая, красноперая:

Мы кузнецы — и дух наш молод,
Куем мы счастья ключи.
Вздымайся выше, наш тяжкий молот,
В стальную грудь сильней стучи, стучи, стучи!!

И на черепащем скрипучем ходу вагонном, перемежая и побеждая ржавые песни колес, — несутся над равнинами песни борьбы, победным гулом кроют пространства. Как они пели — как пели они, ткачи! Не прошли им даром и для песни подпольные годы! То-то на фронте потом, в дивизии, не знал никто другого полка, как Иваново-Вознесенский, где так бы хранили песни борьбы и так бы их пели, — с такой простотой, с беспредельной любовью, с жарким чувством. Те песни гордостью и восторгом воспламеняли полки. Ах, песня, песня, что можешь ты сделать с сердцем человека!

Чем ближе к Самаре, тем дешевле на станциях хлеб. Хлеб и все продукты. В голодном Иваново-Вознесенске, где месяцами не выдавали ни фунта, привыкли считать, что хлебная корочка — великий клад. И тут рабочие вдруг увидели, что хлеба вволю, что дело совсем не в бесхлебье, а в чем-то другом. И горько тут погоревали над общей безурядицей, над тем, что связь слаба у промышленных рабочих центров с хлебородными местами, и словно мстили теперь в хлебном обилие за годы голода — торопились наверстать несъеденные пуды. Уж, кажется, надо бы было поверить, что, продвигаясь в самарскую хлебную гущу, всего там встретят больше и все там будет дешевле. Ан нет: не верилось, — голод отучил от такого легковерья. На каком-то полустанке, где хлеб показался особенно дешев и бел, — закупили по целому пуду. Как же упустить такой редкостный случай? А через день приехали на место и увидели, что там он белей и дешевле: растерянно улыбались, шептались, смущенные, не знали, куда подевать свои сохнувшие запасы.

Лишь только приехали в Самару и остановились где-то на «пятнадцатых» путях, у беса на куличках, где только ржавые груды рельсов да скелеты ломаных вагонов, — высыпали на полотно, скучились, загалдели, заторопили командира узнать поскорее судьбу: куда, когда, на какое дело? Теперь ли тронут враз, али день-другой задержат в городе?

Все это можно было узнать только у Фрунзе. Фрунзе уж командовал 4-й армией. Он выехал из Иваново-Вознесенска несколько раньше самого отряда и теперь находился в Уральске, а здесь, в реввоенсовете, оставил записку на имя Федора. В той записке указывал, чтобы Лопарь, Клычков, Терентий Бочкин и